

## ВОСПОМИНАНИЯ О Ф.М.ДОСТОЕВСКОМ <sup>1</sup>

*Я была еще нездорова, после родов, лежала в постели с моим новорожденным сыном, как меня пришла навестить жена нашего главного сотрудника С.А. Буренина. Расспросив о подробностях и налюбовавшись еще совсем крохотным новорожденным, она начала рассказывать мне и моей акушерке, какая масса народу была у Достоевского... Я не особенно обратила внимание на эти слова, думая, что, очевидно, у Ф<едора> М<ихайловича> какое-нибудь торжество, юбилей или что-нибудь в этом роде, но, когда она заявила, что процессия была на Невском, а конец ее был у Владим<ирской> Ц<еркви>, я удивленно переспросила, почему это так? Она в свою очередь удивленно посмотрела и сказала, ведь сегодня же похороны Ф<едора> М<ихайловича>.*

*Я страшно встревожилась. Мне было ужасно, что я не смогла быть у Ф<едора> М<ихайловича> в этот день, я начала волноваться и упрекать, зачем от меня это скрыли. К вечеру у меня повысилась температура и начался какой-то потрясающий озноб, так что пришлось просить К.Ф. Славянского. Я все твердила, что опасаясь за маленького, что я виновата перед Ф<едором> М<ихайловичем> и страшно боюсь наказания... Были приняты все меры и, слава Богу, молодость и здоровая натура пересилила температуру, и я оправилась, пролежав вместо традиционных девяти дней – двадцать дней.*

*Чтобы объяснить, почему смерть Ф<едора> М<ихайловича> произвела на меня такое сильное и неожиданное впечатление и почему*

*решили мои близкие скрыть от меня смерть и день похорон его, я должна рассказать, что я с мужем была в Москве на торжестве открытия памятника Пушкина на Страстном бульваре.*

*Это было грандиозное торжество, по обстановке, энтузиазму и блеску не поддающееся описанию, да и не стоит его и описывать; я только хочу вспомнить главенствующую роль здесь Ф<едора> М<ихайловича>, и почему мне так больно было узнать о его смерти.*

*Торжество открытия памятника началось с торжественной заупокойной обедни в Страстном Успенском монастыре. Съезд, по билетам, конечно, начался к 16-ти часам... Для родных Пушкина, для делегаций и литераторов была отведена середина собора, и я, конечно, будучи женою литератора и [близкой знакомой] Ф<едора> М<ихайловича>, должна были тоже стоять за решеткой, но меня всегда стесняли все эти решетки для избранных, а в Церкви особенно это противно, и я уговорила распорядителя оставить меня на свободе, а чтобы нам не потеряться после, т. к. на площади были приготовлены места, я с площади пройду к собору за решетку.*

*Встала я совсем позади, народу было еще не очень много, и мне удалось встать очень хорошо, около окна и напротив громадного образа Царицы Небесной, не помню какой только! А я ужасно любила и люблю большие образа; на маленьком образе я не могу так сосредоточиться; вообще меня дразнили, что я язычница... Может быть! Ну, наконец, Собор наш начал наполняться избранными, Боже мой, уж и «достойными» избрания. Цвет литературы, журналистики, искусства!*

Все ждали особенно, кажется, внуков или сына Пушкина, и я, конечно, ждала найти хоть малейшую, отдаленную тень «бессмертного поэта» – но страшно разочаровалась: прошел пожилой, несколько южного типа небольшого роста генерал – и только! Называли каждый раз великих, когда проходили такие большие люди-светочи, как А.Н. Островский, А.Ф. Писемский в каком-то старом балахоне и в калошах, И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, да разве можно припомнить всех их! Все самые лучшие, известные, все тут были. Началась литургия. Запели певчие, было два хора – синодальный и женский хор монашенок здешнего монастыря. Говорят, что Пушкин очень любил этот монастырь.

Как всегда, наша чудная служба меня захватывала и трогала до слез, а тут это дивное пение, переливавшееся с одного клироса на другой, [казалось] соперничали между собой в исполнении. Мне казалось, что само небо открылось и слушало их чистые, как хрусталь, голоса. Против меня было изображение Царицы Небесной, лампады, свет, все это меня так трогало, умиляло и восхищало, что я совсем унеслась куда-то с Пушкиным и молилась за него со слезами... *Вдруг почему-то совершенно неожиданно я пришла в себя, и я охнула на себя: да что я такое? Да за кого я молюсь? За какого «балярина Александра» кладу земные поклоны? Ведь это Пушкин! это бессмертный поэт, Господь Бог избрал его и дал ему гений на радость нам! и миру, а ты, ничтожная какая-то песчинка, ты смеешь молиться за него! Ты просто смешна и жалка, это не то что какой-то «грешный раб Божий Александр», а это гениальный поэт. Господь увенчал его славою при жизни еще, да разве Бог дает простому грешнику такой талант! Опомнись, это просто пошло выходит! Это все мне говорил какой-то внутренний глас быстро-быстро, и, помню, я вскочила с колен. Я иначе и не умею как-то*

*стоя молиться, все меня тянет упасть на колени. Я вскочила, как ошпаренная, и, вероятно, покраснела, т. к. чувствовала себя ужасно скверно, поняла ясно свою дурацкую сентиментальность, и совершенно ясно стало, что я не только смешна, но и не смею молиться за Пушкина. Вскочила, сделала равнодушно-холодное лицо, чтобы люди заметили, и стала рассматривать Собор, публику, и ясно показала на своем лице, что я и не думала молить Бога за Пушкина... Оглядывая холодным взглядом Образ, я опять увидела перед собою Лик Бож<ьей> Мат<ери> и нежно к ней прильнувшего Божественного Младенца. Меня опять что-то ударило в сердце, и мысль вдруг ясно пришла в голову, что, хотя он, Пушкин, и гениальный, но грешный. Какой-то другой голос мне напомнил, что все грехи Господь простит, кроме хулы на Духа Святого, и вдруг, как молния, пронеслась в голове мысль, что Пушкин написал нечто ужасное, непростительную вещь, которую я, конечно, не читала, но о которой я знала... Ужас сковал мне сердце. Я сразу упала опять на колени, забыла, что я смешна или кто-нибудь увидит меня. Я уверена была, что Божия Матерь его простит, ведь его грех касался лично Ее, что, если мы можем простить, то Она, по своей небесной доброте, Сама простит и замолит Сына Своего простить грешного раба Александра, и я действительно, под влиянием ли удивительного пения <нрзб.> концерта, все стояла на коленях и смотрела на Образ...*

Вдруг я чувствую легкое прикосновение к моему левому плечу. Я чуть-чуть оглянулась, думая, что, как обычно, передают свечу к образу. Смотрю – пустая рука. Взглянула вверх, – о ужас – вижу Фед<ор> Мих<айлович>, как всегда, с блестящими проникновенными глазами смотрит мне в глаза и шепчет: «У меня к Вам большая просьба». Я помню, как только его увидела,

вскочила с колен и хорошенько не могла еще оправиться, как он говорит: «Обещайте только ее исполнить». И повел меня в притвор. Я ломала себе голову: какая может быть просьба у Достоевского ко мне, тогда еще совсем, совсем молодой женщине, и решила, пока пробиралась с ним к выходу: наверное, он попросит подвезти его в экипаже и старалась сообразить, как надо будет устроиться втроем. «Обещаете?» – настаивал он. Я, успокоившись, что как-нибудь устроимся, говорю с улыбкой, что хорошо, с удовольствием исполню, что он хочет. Он взял мою руку, крепко сжал в своей и сказал: «Так вот что! Если я умру, Вы будете на моих похоронах и будете за меня так молиться, как Вы молились за Пушкина! Я все время наблюдал за Вами, будете? обещаете?» Боже мой! Я думала, что лучше бы мне умереть, чем это слышать! Мне казалось, что я попала в каком-то позорном поступке. Ведь я думала, что, кроме меня и Бога, никто не знал и не видал меня... Я страшно сконфузилась, начала бормотать, что я и не думала молиться, где, мол, такой ничтожной молиться о таких людях, как Пушкин... Он перебил меня сурово: «Вы обещаете?». Я пролепетала, что обещаю, и он сразу переменялся и повел меня за решетку, так как началась панихида. Я так была сбита, что называется, с панталыка, что стояла совершенно каменной на панихиде и только и думала, что я попала в чем-то нехорошем... После церкви все пошли на площадь к памятнику и началось торжество открытия холста с фигуры Пушкина. Были овации, речи, но это все прошло у меня как бы в тумане. Ф<едор> М<ихайлович> мне все испортил. Дома, каюсь, я все рассказала о своем позоре, о просьбе Ф<едора> М<ихайловича> и о своем обете.

*Теперь понятно будет мое волнение, когда я узнала о смерти Ф<едора> М<ихайловича>, и страх, что он может меня наказать за*

*неисполнение своего обета, а чем меня наказать? И мне казалось, что ничем иным, как смертью моего крошки, через которого я не могла быть с ним в этот день! Надо мной смеялись, опять называли меня язычницей, но все равно я очень долго была расстроена и, действительно, когда сыночка заболел, я все приписывала своей молитве о Пушкине. Когда я выздоровела, я отслужила панихиду на могиле Ф<едора> М<ихайловича> в Н<евской> Лавре и молилась, как могла, но это было не то уже, а какой-то точно долг. Потом, конечно, это прошло, и я часто, часто поминала и <нрзб.> в своих молитвах поминаниях раба Божьего Феодора.*

На другой день было торжественное собрание, посвященное памяти Пушкина, в зале Московского дворянского собрания. Зал был переполнен избранною публикою. В первом ряду были места для родственников Пушкина. Я сидела во втором ряду и жадно глядела и слушала всех наших знаменитостей. Я удивляюсь, как некоторые из них, будучи такими знаменитыми людьми, конфузились и волновались, как обыкновенные смертные. Напр., Ал. Ник. Островский, такой исключительный чтец, страшно волновался и нервничал; Ал. Феоф. Писемский – тот прямо дрожал и так растерялся, что, несмотря на то, что для его чтения «Капитанской дочки» были приготовлены стол и стул, начал читать стоя и книга дрожала в его руках, пока, наконец, он не успокоился и не сел на приготовленное для него место. А он тоже славился своим необыкновенно мастерским чтением. Наконец, на сцену вышел сам Ив. Серг. Тургенев, приехавший специально для этого торжества домой в Россию. Буря аплодисментов раздалась, при появлении его долго кричали и хлопали, долго Тургенев стоял и не мог начать от волнения декламировать. Наконец, зал успокоился, и Тургенев прочел наизусть «Пророка»; все-таки от охватившего волнения он было

запнулся перед концом, и Ал<ексей> Сергеевич, сидевший в первом ряду, подсказал ему.

Описать те овации и крики восторга и удивленно-доброе и счастливое лицо Тургенева я не могу. Это был полный триумф его. Еще бы, Тургенев! Кто не читал и не перечитывал его романы, кто не страдал вместе с Лизой, Еленой, кто не плакал над умирающим Базаровым... А когда Лиза увидела в монастыре Лаврецкого и прошла мимо его «торопливо-робкой монашеской поступью», кому не хотелось тоже пойти в монастырь! Кто не перечитывал в сотый раз свидания в часовне Елены с Инсаровым?.. И вдруг видишь и слышишь самого героя, самого автора... Зал был наэлектризован, и думалось, что дальше восторгам уже идти некуда...

Но вот появился на сцену Ф.М. Достоевский с горящими глазами и всегда проникновенным взором... Опять аплодисменты, опять крики, и Тургенев, сидевший тогда после своего выступления в первом ряду, хлопал горячо. Достоевский прочел ряд стихов Пушкина и снова воспламенил толпу, особенно когда он сказал, что Пушкин нам дал светлый образ «Татьяны», а за нею идет чистый облик «Лизы»... Надо сказать, что Достоевский удивительно читал и вообще говорил вдохновенно и страшно действовал на слушателей, а при слове «Татьяны» и затем «Лизы» как-то вскрикнул, словами я не умею передать его тон, но зал как бы вздрогнул, начались неистовые аплодисменты, кричали Достоевского, Тургенева...

И Тургенева вытащили на сцену. Достоевский протянул ему руку, и они поцеловались... Восторга публики я не могу изобразить при этой трогательной сцене, когда два таких огромных писателя-учителя помирились! Мне объяснили тогда, что они были во враждебных лагерях –

Тургенев был представителем западного течения, а Достоевский был сторонником славянофильства и самобытности, и вдруг два таких исконных врага помирились и поцеловались! Долго опять зал не мог успокоиться. Под конец Достоевский прочел, как только он умел читать, «Медведицу», и так прочел, так говорил за медведицу, она так горячо и неистово защищала своих малых детушек-медведишек от мужика, что я чуть-чуть не расплакалась, – так мне было жаль медведицу.

Окончилось чтение, все кинулись к выходу, к артистической комнате, навстречу Достоевскому, и тут произошло совершенно еще невиданное и неожиданное зрелище. Когда только вышел Достоевский, к нему буквально бросились девушки и вообще молодежь, толпою, некоторые прямо падали на колени перед ним, целовали ему руки; я такие сцены видела только после, с отцом Иоанном Кронштадтским, когда толпа буквально несла его. Наконец, несколько освободившись от восторженной толпы, он, поравнявшись с мужем и пожав ему руку, отвечал на приветствия Алексея Сергеевича, шепнув ему: «А, каково? Наша взяла!». Алексей Сергеевич передавал это с восторгом, так как сам был всегда националистом и русским до глубины души. Я этого совершенно не понимала и удивлялась, что даже у таких громадных людей бывают слабости и такое тщеславие, но мой муж ответил, что это вовсе не тщеславие, а торжество их взглядов, их идей! Торжество закончилось апофеозом Достоевского и всё перед ним побледнело! Такова в нем была сила слова!

Через день мы завтракали вместе с Федором Михайловичем у Тестова, ели расстегаи. Завтрак был интимный, была всё своя компания. Я была одна дама и сидела в середине стола и по правую руку мою кавалером моим был Федор Михайлович. Нас было немного: я с мужем,

Островский, Григорович, Максимов С.В., Горбунов и Берг Н.В. Завтрак шел оживленно. Конечно, разговоры шли о литературе и о политике. Вдруг Ф.М. обратился ко мне с вопросом: как нравится мне Диккенс? Я со стыдом ему сказала, что я не читала его. Он удивился и замолчал. Разговор всё шел у остальных свой. Опять совершенно неожиданно Ф<едор> М<ихайлович> громко сказал: «Господа, между нами есть счастливейший из смертных!». Я с удивлением обвела глазами всю нашу компанию. Всё это были люди довольно пожилые и особенного счастья я не видела в их лицах. После небольшого молчания Достоевский сказал: «Моя соседка Анна Ивановна». Я перепугалась от неожиданности... «Да, да! Она! Господа, счастливая Ан<на> Ив<ановна> еще не читала Диккенса, и ей, счастливнице, предстоит еще это счастье! Ах, как я бы хотел быть на ее месте! И снова прочесть «Давида Копперфильда» и всего Диккенса!». Я ему объяснила, почему, читая так много, не читала Диккенса; что я пробовала, но не могла прочесть, т. е. положительно не могу читать ни страданий детей, ни животных, а мой кум, Ив<ан> Фед<орович> Горбунов, прибавил, что я только люблю страдания любовников, «и что пуще – то лучше! Любовникам разрешено давиться, топиться, - что угодно! – а детей не смей трогать!» Все смеялись, а когда я сказала ему, что, слушая его «Медведицу», я чуть не расплакалась, так жаль мне было ее – и так бы я хотела, чтобы она исполнила свою угрозу и съела бы мужика. Достоевский рассмеялся и сказал: «Это очень интересно, но все-таки Вы должны прочесть Диккенса. Когда я очень устал и чувствую нелады с собою, никто меня так не успокаивает и не радует, как этот мировой писатель!». Я обещала прочесть.

Больше в Москве я не видела Ф<едора> М<ихайловича>, и он скоро уехал домой в Петербург.

В Петербурге у нас были еженедельные собрания по воскресеньям. Приезжали к чаю к 9-ти часам, к ужину, к 12 приезжали обыкновенно из театра и артисты. Обычными посетителями были Ив<ан> Фед<орович> Горбунов, мой кум и крестный отец моего сына, Арди, В.Н. Давыдов, Стрепетова, из оперы Ив<ан> Алекс<еевич> Мельников, Лавровская, Сазонов, Леонова и многие другие. Из художников близкими были Ив. Н. Крамской и К.Е. Маковский. Все это были интересные люди, и разговоры, речи текли без умолку. Тут и политика, и литература всех оживляла и сближала. Любил посещать наши воскресенья и Ф<едор> М<ихайлович>, часто оставался ужинать, чтобы послушать за ужином незабвенного и незаменимого моего дорогого кума Ив<ана> Фед<оровича> Горбунова... Особенно любил Ф<едор> М<ихайлович> слушать роль генерала Дитятин и смеялся, как ребенок, да и весь стол помирал от смеха, так что генерал Дитятин долго мрачно смотрел и ждал, когда закончится этот недетский хохот! Такого изображения не было и не будет.

После ужина бывали сценки, напр.: цыганские пляски, пение, уличные музыканты, но это не то, что теперь. Ив<ан> Фед<орович> изображал музыканта-шарманщика, а Арди – певицу, с предупреждением, что это – петербургский двор – «колодезь» пятиэтажного дома. И начинали пение «Под вечер осени ненастной пустынным дева шла местам и тайный плод любви несчастной держала трепетным рукам». При этом они глядели все время вокруг и вверх, - не открыта ли форточка, и когда она открывалась и падал завернутый в бумажку пятак, Арди бросался на него, как ястреб бросается на добычу. Все это Арди проделывал страшно смешно и верно и вызывал хохот. Смеялся и Ф<едор> М<ихайлович>, но до сих помню его лицо; то он смеялся, то мрачно, серьезно, скорей проникновенно смотрел, как

бы видя воочию эту несчастную деву, и этот, с самого рождения, несчастный плод любви. Ведь он всегда смотрел особенно. Взгляд его был пронизателен, и казалось, что он все видит насквозь и читает душу. И удивительно странно он действовал на меня! Я понимала, что это удивительный писатель, что это наша слава. Все это я понимала, но сама этого оценить в полноте не могла, т. е. совершенно не могла его читать. Прочла, по приказу Д.В.Григоровича, его «Неточку Незванову», – понравилось, но не особенно, прочла «Преступление и наказание», страшно подействовавшее на меня, но не переживанием души Раскольников, а просто страхом за него, чтобы он не выдал себя, когда он, несчастный, был под наблюдением сыщика. Тут тонкий анализ Достоевского исчезал для меня, и Раскольников был для меня только затравленным зверем. Остальные его романы тогда вовсе не могла одолеть: прямо моя натура не могла их переварить и я не могла их понять.

Своеобразные герои Достоевского были чужды мне. Моя совершенно здоровая и нормальная натура и уравновешенная психика, чуждая всякой мистике, мешала мне понять героев Достоевского. Я любила все ясное и определенное: любовь так любовь, ненависть так ненависть, а тут у него все так запутано... Герои казались мне все какими-то нездоровыми или ненормальными, и, будучи сама здоровой и нормальной, судя о других по себе и прилагая их действия к себе, я совершенно запутывалась, как в лесу, с ними, и не могла понять и разделять с ними их жизнь. Я бежала из этого густого и мрачного леса на ясные поляны к Тургеневу, Толстому, Гончарову, где мне все было естественно, просто и близко сердцу.

Это, может быть, я пишу себе обвинение. Достоевский признан всем миром, но я, почитая его память, как великого мыслителя, не фальшивя перед самой собою, не могу сказать иначе. Очевидно, такой тонкий анализ, такой

глубокий не мог быть оценен таким простым и обыкновенным человеком, каким была я.

Помню еще Ф.М.Достоевского и Ивана Сергеевича Тургенева, читавших в одном из собраний, и помню успех их обоих и любовь к ним публики, но и тут Достоевский одержал верх. Тургенев прочел «Стучит» и потом прочел с М.Г.Савиной сцену из «Провинциалки», где М. Г. прямо неподражаема, разыгрывает эту роль, точно плетет тончайшее кружево. Видала и других артистов в этой роли, но и близкого ничего нет. Помню, как Савина вывела И.С.Тургенева на сцену. Тургенев очень сначала конфузился, и Савина его всё подбодряла сначала, потом он, очевидно, попал под влияние очаровательной провинциалки, и они оба заражали друг друга, и публика была очарована этим исполнением. Тургенев читал графа Любина, это был незабвенный дуэт! Вызовам и восторгам не было конца. Выходили на вызовы вместе, и все время Савина выводила своего великого партнера. Под конец ей удалось вырвать свою руку из руки Тургенева, отбежать от него несколько и самой горячо аплодировать своему любимому автору. Конечно, аплодисментам и восторженным крикам не было конца, и опять казалось, что дальше идти некуда проявлению восторга! Но – показался Достоевский! Опять всё заколыхалось, опять толпа как-то наэлектризовалась и с затаенным вниманием слушала его чтение.

Он читал главу из «Братьев Карамазовых» – «Исповедь горячего сердца», здесь Митя рассказывает своему брату, как пришла к нему, после больших колебаний Екатер<ина> Ивановн<а> просить денег, чтобы спасти ее отца. Заключительные слова этой сцены, где Екатер<ина> Ивановн<а> потрясена великодушием Мити, в чтении Достоевского произвели потрясающее впечатление. «Она вся вздрогнула, посмотрела пристально,

страшно побледнела, ну как скатерть, и тоже ни слова не говоря, не с порывом, а мягко так, глубоко, тихо так склонилась вся и прямо в ноги, лбом до земли, не по-институтски, по-русски! И вот эти-то последние фразы – *в ноги... по-русски!* Последние слова Достоевский не прочел, а таким проникновенным, каким-то восторженным возгласом крикнул. Зал мгновенно, с оглушительным «браво», весь встал, и казалось, что, если бы не мешали стулья, также истово, в ноги, по-русски поклонился бы ему, как Екатер<ина> И<вановна>, до земли.

Долго крики восторга не смолкали и долго Ф<едор> М<ихайлович> стоял перед восторженной толпой, тяжело дыша, как бы сам переживая терзания своих героев.

Такова сила его таланта!

*На одном из наших домашних спектаклей присутствовал и Фед<ор> Мих<айлович> Достоевский. Играли Островского «Доходное место». Тогда эта пьеса имела громадный успех, роль либерального Жадова находила отклик у молодого поколения, всегда имела успех и была благодарнейшая роль для актера. Ставил пьесу у нас большой наш приятель Ник. Фед. Сазонов, Жадова играл Н.Пл. Карабчевский – красавец и знаменитый адвокат, очень талантливый актер и покоритель дамских сердец. И это была одна из его лучших ролей! Жену его, глупенькую, но милую Полиньку, или Полину, играла я, мою мать, т.е. тещу (типаж) Жадова играла жена Ив<ана> Ник<олаевича> Крамского С.Н.Крамская. Сестру мою Юленьку играла дочь моего мужа, моя belle fille А. Ал. Коломнина и Викт<ор> Петр<ович> Буренин играл роль генерала Вышневецкого.*

*Вся пьеса держится на Жадове. Он дает тон всей пьесе. Затем идут роли Полины и матери. Со всеми нами, кроме, конечно, Жадова–Карабчевского, проходил Сазонов. Я никогда никого в этой роли не видела, и хотя я была бесстрашная и готова была играть, не читая даже пьесы, любую роль, хотя бы Леди Макбет, и начать спектакль пляской и пением простушки невоспитанной <?>, – но в этот раз я очень боялась, главное, боялась подвести Жадова, т. к. почти что лучшие его места все с «Полиной». На репетиции он не вполне играл, я читала свою роль по указаниям режиссера. Одна Крамская играла на репетиции, и мне ужасно нравился ее тон. На генеральной репетиции было довольно много народу, но подъему не было, и я совершенно потерялась, тем более что слышала со сцены голос Н. Петр. Вагнера про меня, что я очень мила, - что-то в этом роде, а муж сказал, что, по его мнению, «она (т. е. я) как-то очень легкомысленно играет». Услыхав это, я еще больше потерялась, ценя ужасно строгие, взыскательные, беспощадные, но искренние всегда и верные мнения Ал. Сергеевича. Я решила, что завтра буду играть, т.е. стараться играть Полину серьезнее и была совершенно какой-то потерянной. Жадов был недоволен мною.*

*Я смертельно боялась и с наслаждением бы отказалась, но это было невозможно уже. На спектакле была масса приглашенных, и когда я посмотрела в отверстие занавеса, то меня прямо сковал ужас. Первое лицо, что я увидела, это было лицо Достоевского, беседующего с Григоровичем, потом Я.П.Полонского в первом ряду из-за своих длинных костылей, Н.С.Лескова, Вагнера, <нрзб.> да много из наших отличных приятелей и посетителей наших воскресений, но Ф<едор> М<ихайлович> меня прямо подкосил! Я кинулась к Н.Ф.Сазонову, гримировавшему кого-то из наших, и*

*говорю, что я не могу играть, что умру, умираю, а он совершенно спокойно выводил какие-то тени на лице актера, говорит:*

*«Только, дорогая, не здесь, а на сцене... Там я не отвечаю...». Я взглянула на себя в зеркало и ахнула: там в голубеньком открытом платьице была не провинциалка Полинька, а какая-то трагическая маска. Сазонов просто расхохотался и прибавил, что прямо хоть сейчас трагедию ставь и гримировать не надо. Потом сжалился, страшно ласково-любовно клялся мне, что буду мило играть и буду иметь успех, а я твердила, что если бы только не Достоевский! Мне совестно перед ним наивничать, да и всех, сколько я помню, смутила моя весть о прибытии Достоевского, но все равно раздался звонок, взвился занавес, и надо было идти «умирать»!*

*Но странная вещь! Когда я очутилась на сцене, когда я поняла, что спасения мне нет, я твердо решила играть, как только могу веселее и живей, чтобы только не быть деревянной – умру, но сыграю! Слова Вагнера и Ал<ексея> Сергеевича исчезли из головы. Я всегда восхищалась на игру Крамской, эта ее упрямая, ничему не поддающаяся пошлость воззрений и взглядов на жизнь в сравнении с благородством, может быть, немножко и надуманным, Жадова, восхищала меня, и я твердо решила быть достойной дочкою своей маменьки.*

*И действительно приводила в ужас бедного моего мужа. Несмотря на его благороднейшие речи и монологи, я упрямо повторяла: «А маменька говорит, что ты можешь это сделать!.. Маменька лучше нашего с тобой знает!» После этих сцен я несколько раз слышала тихо «браво! браво!», но я совершенно не понимала, за что? и кому? И неслась по течению. Несколько раз смеялись после моих наивных поучений мужу, мне даже самой было*

*жаль Карабчевского-Жадова, когда его милая, глупенькая, но в сущности добрая Полянка доводила его до гнева.*

*Но все хорошо, что хорошо кончается, и мы, наконец, окончили под аплодисменты наше представление, выходим все, конечно, вместе за руки. В один из вызовов вижу, Достоевский взбирается к нам по лестнице из зрительного зала на сцену, по этой лестнице то взбирался, то спускался наш режиссер, мы, конечно, были польщены его к нам визитом. Поздоровавшись со сцены, он подошел к нам по лестнице из зрительного зала на сцену; по этой лестнице то взбирался, то спускался наш режиссер. Мы, конечно, были польщены его к нам визитом. Поздоровавшись со всеми, он подошел ко мне, смотрит, как всегда, как-то строго и серьезно говорит: «вы мне очень понравились, у вас настоящий драматический талант... Вы должны работать и изучать эстетику». Потом, обращаясь к мужу, говорит: «А<лексей> С<ергеевич>, настаите, заставьте вашу жену заняться серьезно драматическим искусством!». Ал<ексей> Сер<геевич> на это ответил, что я такая лентяйка, каких еще свет не производил. И после, за каждой нашей встречей с Ф<едором> М<ихайловичем> он всегда меня спрашивал: «Ну что? занимаетесь эстетикой?». Я очень конфузилась всегда и не могла дать желанного ответа.*

---

Помню еще о Фед<оре> Мих<айловиче> рассказ мужа, только что вернувшегося от Достоевского под сильным тяжелым впечатлением. Он застал Фед<ора> Мих<айловича> только что после жесточайшего, как он назвал, припадка. Он еще даже лежал на своем кожаном диване, все еще потрясенный и не отдохнувший, с потным лбом, лихорадочными глазами и

совсем еще слабою речью. Муж был взволнован его видом и не мог решиться заговорить с ним. Фед<ор> Мих<айлович> сам начал рассказывать, как это ужасно, как он упал и что, слава Богу, не расшибся. Муж участливо расспрашивал о возможности принимать какие-либо меры для предупреждения несчастного падения и не заметил ли Ф<едор> М<ихайлович> каких-нибудь признаков, предчувствий приближения припадка?.. «Нет, – отвечал Ф<едор> М<ихайлович>, – разве только мне на мгновение показалось, что вот там, в углу, – и он показал рукою на противоположный угол комнаты, – вот там сгустился какой-то мрак... и я упал»...

Этот рассказ, помню, произвел самое ужасное, тяжелое впечатление на всех нас.

## Примечания

---

<sup>1</sup> ИРЛИ РАН. Р.І. Оп. 6. Ед. хр. 85. Суворина Анна Ивановна. Воспоминания о Ф.М. Достоевском. Без даты. Три тетради. 50 лл. (8 чистых). Опубликовано: *Перлина Н.М.* Достоевский в воспоминаниях современников // Достоевский и его время. Л., 1971. С. 295-304 (с пропусками). Пропущенные места в настоящей публикации приводятся курсивом. В остальном тексте очерка сделаны некоторые мелкие уточнения.

Фрагмент со слов «На одном из наших драматических спектаклей ~ Викт. Пет. Буренин играл генерала Вышеславского» с небольшим пропуском опубликован: *Мостовская Н.Н.* Достоевский в дневниках С.И.Смирновой (Сазоновой) // Достоевский. Материалы и исследования. Вып. 4. Л., 1980. С. 277 (примечание 20).